

Олег Радзинский

ИВАНОВА СВОБОДА



Олег Радзинский

**ИВАНОВА
СВОБОДА**

«ИВАНОВА СВОБОДА» – шесть непохожих друг на друга историй, в каждой из которых привычный обыденный ход жизни героев ломается в одночасье. Словно в небе над ними висит дамоклов меч беды, согнутый вопросительным знаком: за что? А вот ни за что. Звезды так сложились.

(c) Олег Радзинский, 2024

(c) eBook Applications LLC, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА	5
СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ.....	6
ИНДОМ.....	67
ИВАНОВА СВОБОДА	103
NERENTHES ALEVINA.....	192
ТЕАТР ОДНОЙ АКТРИСЫ.....	245
ПУТЬ К СЕБЕ.....	370

ОТ АВТОРА

Рассказ “Светлый ангел”, написанный и опубликованный в российской версии журнала *ESQUIRE* в 2008 году, представлен в новой редакции. Остальные тексты написаны в 2010 году и публикуются впервые.

СВЕТЛЫЙ АНГЕЛ

1

Светошников был человек хромой. Хромать он начал маленьким, от желания быть жалким, да так и привык. Но когда хотел, мог и не хромать.

“Почему цветы?” — удивлялся Светошников. Цветы были жёлтые, и от того раздражали ещё больше. Светошников не любил жёлтого; его любимым цветом был другой.

Такого цвета, как он любил, не существовало в природе. Светошников видел его только внутри себя: он мог закрыть глаза и видеть вещи, окрашенные в этот несуществующий цвет. Он часто так делал.

Сейчас он сидел с открытыми глазами и смотрел на жёлтые хризантемы в центре стола. Светошников понимал, что они лишние. Они мешали и заставляли людей, сидящих напротив, нервничать и отказываться от предложенных банком условий.

Сути сделки Светошников не знал, да ему было и ни к чему: он пришёл на переговоры, потому что президент банка Альтин попросил его “посидеть”.

Альтин рано начал полнеть, но Светошников помнил его худым и рыжим. Сейчас его волосы, как у многих рыжих, посерели, стали почти бурыми. Они знали друг друга с детства. В детстве Светошникова случалось не много толстых людей.

Светошников не старался понять происходящее: это было не его дело. Голоса в комнате повисали в воздухе отдельно и мало его беспокоили. Люди вокруг спорили о процентах, о форме контроля, об обеспечении кредита, и других неважных вещах. Главным же сейчас были цветы и что-то ещё, чего не хватало на столе.

Светошников уже разобрался с цветами: их нужно убрать. Оставалось понять, чем их заменить.

Светошников заметил, что Альтин неотрывно на него смотрит, пока банковский юрист цитирует пункты договора. Альтин спросил его глазами, и Светошников чуть поморщился и покачал головой:

он хотел, чтобы Альтин поволновался и не думал, будто легко делать то, что мог делать только он.

Нужно было сосредоточиться на центре стола. Светошников мысленно убрал оттуда цветы и пытался увидеть, что там должно быть. Он отметил, что беседа стала неровной: теперь в ней ощущалось больше рваного и какого-то тёмно-фиолетового. Это тёмно-фиолетовое шло от людей напротив и всё разрушало. От него хотелось лечь спать.

Беседа в комнате вдруг ослабла и стала сизой. Как голуби. Светошников не любил голубей. Голуби росли из асфальта и были одного с ним оттенка. Они знали, как не обращать внимания на мир. Их одутловатая сизость была неприятна, их безразличие к людям — очевидно, их крылатость — бесспорна.

Светошников не любил голубей. Он считал их частью заговора против себя.

Принесли печенье и кофе. Светошникову нравилось печенье, но другое, с розовым кружочком клубничного джема посередине. Такое, как принесли, он не любил и брать не стал. Люди напротив (их имена

забылись Светошниковым сразу и навсегда) тоже отказались от угощения: они хотели показать, что их не устраивают условия банка. Один из них — с острым узким лицом, на котором широко расставленные карие глаза выглядели не совсем уместно — спросил у Светошникова что-то, что тот не понял. Что-то про консолидированный балансовый отчёт. Он хотел, чтобы Светошников согласился. Светошников согласился. Не спорить же.

Кроме того, Светошников не знал, что такое консолидированный балансовый отчёт и чем он отличается от других, неконсолидированных. Ему это было не нужно. На двери его кабинета — в конце коридора — висела табличка: Павел Романович Светошников, Вице-президент по общим вопросам. Что это означало, знали только двое: Светошников и Альтин.

Даже Лизе они не рассказывали.

Нельзя.

Беседа в комнате умирала, оставаясь вяло-сизой, с искорками фиолетового плохого. Светошников уже понял, что сизый цвет не спроста: ему пытаются что-то подсказать. Он начал думать обо всём сизом, что знал. Голуби, раз. Асфальт, два. Ранние сумерки, три. Морская вода в несолнечную погоду, четыре. Что-то с водой. С морем. Он должен думать про море. Что-то в море или рядом.

Светошников закрыл глаза.

Внутри него качалась вода. Он был заполнен сизой водой. Она казалась не прозрачной. Но и не мутной. Вода была внутри Светошникова. Он сам был внутри воды и смотрел из неё вверх. Затем вода наклонилась, обернулась вокруг Светошникова, и всё стало видно под другим углом. Светошников увидел дно и что на дне. Рыб не было. Только слабое розоватое свечение сквозь сизую воду.

Светошников улыбнулся с закрытыми глазами: теперь он знал, что нужно.

Люди напротив собирали бумаги, показывая, что встреча закончена. Вариант договора, предложенный банком, они оставили на столе, и его листы ненужно лежали повсюду — белые прямоугольники с чёрными линейками букв, которые Светошников никогда не читал. Ему это было ни к чему.

Он посмотрел на Альтина и кивнул.

Тот наклонился к Светошникову:

— Увидел?

— Ракушки, — Светошников кивнул на цветы. — Эти, жёлтые, убрать, а в центр стола — ракушки. Сколько можно.

Альтин нажал кнопку интеркома и вызвал Лану, свою темнолицую секретаршу. Она стала такой год назад, когда обожглась в солярии: вместо золотисто-оливкового оттенка, к которому Лана стремилась, ее лицо стало тёмно-серым. “Интересно, — подумал Светошников, — только лицо или всё тело?” Он никогда не видел Лану голой. Он посмотрел на её ноги в чёрных просвечивающих чулках и на секунду решил, что чулки — телесного цвета: это её кожа

настолько темная. Это была смешная мысль. Светошникову стало смешно. Он начал смеяться.

Люди напротив перестали собирать бумаги. Они посмотрели на Светошникова, затем на Альтина. Альтин в это время объяснял Лане, что нужно убрать цветы и заменить их ракушками. Лана кивала и не удивлялась: не в первый раз. Она лишь спросила, должны ли ракушки быть речными или морскими. Альтин взглянул на Светошникова. Тот пожал плечами: всё равно. Ракушки. Или что-то в форме ракушек. Чтобы заворачивалось, со спиралью внутри. Этого он говорить не стал.

— Коллеги, — теперь начиналась роль Альтина, и Светошников мог расслабиться или уйти. Но он знал, что Альтину будет спокойнее, если он останется до конца, — давайте не торопиться с решениями. Давайте оставим прошлые разногласия и попытаемся прийти к согласию.

Альтин тянул время, пока искали ракушки, и мог говорить ни о чём бесконечно долго. Светошников

знал его больше двадцати лет, но каждый раз удивлялся этой способности. Сам он не мог сказать связно двух фраз. Хотя теперь говорил лучше, чем в детстве.

— Видите, как много значат слова, — продолжал Альтин, — я просто заменил одну приставку на другую, “разно” на “со”, а смысл совершенно иной. Смысл, согласитесь, прямо противоположный. А почему?

Альтин посмотрел на дверь: он волновался, скоро ли принесут ракушки. Светошникову тоже было интересно, хотя и не очень: его часть работы закончилась, он сказал, что нужно делать, а там, дальше, — это другие. Сейчас ему было интереснее, какого цвета у Ланы ноги. Если снять чулки.

— Потому что “разно” означает, что нас что-то разнит, а “со”, наоборот, означает то, что мы можем сделать совместно, — продолжал Альтин. — Так давайте же оставим “разно” и сконцентрируемся на “со”. Давайте не спешить, давайте попытаемся

найти компромисс между нашим предложением и вашими потребностями в финансировании.

— Да какой может быть компромисс с такими процентами и требованиями по залогу? — Это был не остролицый, а другой, с толстым голосом. — Вы же все условия прописали в свою пользу.

— Почему же только в свою? — бросился в атаку банковский юрист. — В разделе договора об ответственности сторон...

Он начал гладко говорить о непонятных Светошникову вещах. Внутри груди у юриста жило зелёное, и, когда он сглатывал после долгого говорения, оно расходилось вниз к животу. Сам юрист об этом не знал. Его имени Светошников не помнил. То есть раньше помнил, но недолго. Потом сразу забыл.

Дверь открылась — тяжёлая, крашенная тёмно-коричневым лаком, и в неё, придерживаемую одним из охранников, что обычно сидели в приёмной банка на нижнем этаже, вошла Лана с подносом. Она поставила поднос на край стола. Вошедший следом

охранник, улыбаясь углами потрескавшихся губ, подошёл к столу и вытянутыми прямыми руками поднял тяжёлую квадратную вазу с хризантемами. Он отступил от стола и остановился, не зная, что с ней делать. Он смотрел на Альтина и от напряжения моргал.

— В мою приёмную, — сказал Альтин и для чего-то кивнул охраннику.

Охранник кивнул в ответ и ушёл, неся вазу перед собой. Казалось, он идёт её кому-то дарить.

Лана подвинула поднос на центр стола и отступила в сторону.

На подносе лежали небольшие мокрые серые ракушки вперемишку с конфетами неправильно овальной формы в серо-серебристых обёртках. Альтин посмотрел на Светошников: так ли?

Светошников покачал головой:

— Рассыпать нужно. По столу.

Альтин кивнул. Он встал — круглый, блёкло-рыжий.

— А конфеты для чего? — узким шёпотом спросил он Лану. — Почему конфеты?

— Это конфеты “Ракушка”, Михаил Аркадьевич, — зашептала Лана. — У девочек в бухгалтерии взяла. Я просто подумала, что тоже ракушки. Вы же сказали: чем больше, тем лучше. Унести?

Альтин взглянул на Светошникова: тот покачал головой:

— Пусть. Только нужно по столу рассыпать. Конфеты пусть.

Альтин кивнул и, потянувшись, ссыпал ракушки и конфеты с подноса на стол. Затем он разгладил их рукой, словно пытался сравнить с полированной деревянной поверхностью, в которой отражались его ладони.

Люди напротив с интересом следили за Альтиным. Узколицый взял ракушку и принялся вертеть в руках. Светошников видел, как серо-голубое от ракушки переползает по тёмным рукавам пиджака к лицу и окутывает длинную узкую голову переливаю-

щейся дымкой. “Схватилось, — отметил Светошников. — Сейчас оно их закутает, и они будут согласные”. Он не знал, на что они должны согласиться.

— Пожалуйста, угощайтесь, — обратился к гостям Альтин. — Прошу вас.

Узколицый взял конфету и, не выпуская ракушку, стал шуршать блестящей обёрткой. Сизая дымка вокруг его головы начала быстро густеть, и теперь Светошников мог еле видеть проступающие сквозь неё глубокие карие глаза. Всё остальное потерялось, растворилось, слилось.

“Как его быстро, — подумал Светошников. — Сейчас всё подпишет”.

Он, впрочем, не был уверен, должен ли тот что-то подписывать. Альтин ничего об этом не говорил. Он просто позвонил ему в кабинет и попросил зайти посидеть. Сложная ситуация. Посиди, Паша. Как всегда.

— А это интересная идея, — сказал толстым голосом другой человек напротив: — ракушки и конфеты. Концептуально.

Он тоже взял ракушку и начал вертеть в руках, поднося к глазам, словно пытаюсь заглянуть внутрь перламутровой спирали.

Светошников следил, когда сизое начнёт к нему прилипать.

— А мы ничего не концептуального здесь не делаем, — ухватился Альтин. — И если вы внимательно прочтёте наш договор, то убедитесь, коллеги, что пункт о залоге — тоже часть более общей, даже расширенной концепции партнёрства. Вы же для нас не клиенты, а партнёры. Принимая вашу собственность в залог, мы тем самым принимаем на себя часть ваших рисков, вернее, снимаем часть рисков с вас и перекладываем на себя.

Светошников перестал слушать: дальше будет о непонятном. Альтин чувствовал перелом в комнате, хотя и не видел сизую дымку, что струилась над ракушками в центре стола: это видел только Светошников. Он посмотрел, как блёкло-синяя струйка зазмеилась по рукам человека с толстым голосом и втекла в него через ноздри.

— А что, Дмитрий Борисович, — обратился к нему остролицый, — коллега прав: для нас залог, в общем, не страшен. Наоборот, взаимная гарантия долгих отношений.

Светошников посмотрел, что туман вокруг лица говорящего принял форму ракушки, и того засасывало туда, так что даже его голос стал звучать глуше, словно издалека. Было интересно на это смотреть, и Светошников пожалел, что видно только ему. Он встал и кивнул всем сидящим: можно было уходить.

— Павел Романович, к сожалению, должен нас покинуть и заняться другими неотложными делами, — слышал он сбоку от себя красноватый голос Альтина. — Давайте его отпустим и пройдемся по процедуре залога ещё раз.

Через час Альтин прибежал в почти пустой кабинет Светошникова, когда тот смотрел китайский фильм, где была девушка с уверенными глазами. Девушка побеждала всех, с любым оружием, но не

могла победить себя. Названия фильма Светошников не помнил, хотя смотрел его почти каждый день. В конце фильма девушка красиво прыгала в пропасть, а который её любил, оставался жить. Светошникову нравилось, что она никому не досталась.

— Паша, гений! — шумел Альтин. — Всё подписали, на всё согласились. Расплатиться они, конечно, не смогут, так что завод мы у них через год-другой заберём, землю перепрофилируем и продадим под застройку. Четырнадцать гектаров внутри Третьего кольца. Стопроцентный вариант.

Светошников кивал. Он не совсем понимал, о чём говорит Альтин. Ему это было не важно и не нужно. Он хотел досмотреть кино.

— Как ты их, с ракушками, — не мог остановиться Альтин. — Сразу сработало. Я тоже заметил, как их сразу проняло.

Он перестал бегать по гулкому от незаполненного пространства кабинету Светошникова и заглянул тому в глаза:

— Честно сказать, я уже боялся, что всё. Что ты это потерял. Ну, — Альтин поморщился, — после сделки с торговым центром. Помнишь?

Светошников кивнул. Он помнил.

Он хотел, чтобы Альтин ушёл. Он хотел увидеть, как девушка с узким уверенным взглядом всех победит, а потом прыгнет в пропасть.

— Но ты доказал сегодня, — Альтин зачем-то поднял вверх левый кулак. — Доказал. Ничего ты не потерял. Мы их полгода ломали, а ты пришёл — и сразу, за двадцать минут. Ничего ты не потерял, Паша. Спасибо.

Светошников кивнул.

Он хотел, чтобы Альтин ушёл. Он знал, что на самом деле Альтин ошибается: может, пока и не потерял, но дела были плохи.

Рассказывать об этом Светошников не собирался. Только время терять.

Московские пробки Светошникова не беспокоили: он в них не попадал, если решал не попадать. Обычно его возил шофёр: утром в банк, вечером обратно. Светошников редко ездил куда ещё: ему там было нечего делать.

Его много лет возил один и тот же шофёр, и Светошников теперь помнил имя: Михаил. Однажды он знал и отчество, но потом оно куда-то потерялось и пропало, закатившись за другие вещи в его памяти. Светошников не жалел о том, что забыто: он просто не помнил, что когда-то это знал.

В голове у Михаила — слева от неразберихи изгибов мозга — клубился плохой, мутный дым. Дым разрастался с годами, и Светошников часто следил, как дым прорастает внутрь мозга, и тот постепенно бледнеет в этих местах. С заднего сиденья это было хорошо видно.

Светошников знал, что от дыма можно избавиться: надо каждое утро натошак разрезать третьим ножом чёрный бородинский хлеб и объедать, что остаётся на лезвии. Постепенно липкая мякоть вберёт в себя дым, и внутри мозга опять будет чисто. Только есть надо прямо с ножа.

И не моргать.

Однажды — теперь давно — Светошников попытался объяснить Михаилу, что нужно делать, но не нашёл правильных слов. Тот слушал, кивал и повторял: “Понял, Пал Романыч. Ясно, Пал Романыч. Сделаем, Пал Романыч”. Потом, один в машине, Михаил долго качал головой, и дым качался вместе с ним. Больше Светошников ему ничего не говорил и лишь наблюдал, как всё больше михайлового мозга тускнеет и становится неживым. Он, впрочем, знал, что наблюдать оставалось не долго.

В этот вечер он вёл машину сам: Михаил стал бы спрашивать, куда ехать, а Светошников не знал: езда и была выяснением, куда ехать. Это мог сделать только он.

Светошников повернул налево; здесь было одностороннее движение, но он знал, что никто не поедет навстречу. Иначе б рука сюда не свернула.

Он уже кружил по серым от грязных сумерек улицам больше часа: без цели, плана, видимой нужности. Ждал, когда ему будет знак.

Дома вдоль переулка были поставлены плотно, словно боялись, что иначе упадут. Дома прерывались полукруглыми дырками арок, внутри которых стояла чёрная темь. Можно было въехать в любой двор и посмотреть в жёлтые окна, где жили люди, не видевшие себя. Они не чувствовали, как делать простые вещи. Поэтому в них прорастал дым. В некоторых уже ворочались другие существа, похожие на пауков с клешнями. Существа оформлялись из дыма и постепенно съедали людей изнутри. Светошников их видел, а люди — нет. Существа тоже видели Светошникова: они боялись, что он их выгонит и станет сам там жить. Только ему это было ни к чему.

В конце переулка висел круглый знак с четырьмя латинскими буквами: “STOP”. Слева от знака, спрятавшись за припаркованным минивэном, стояла патрульная машина ГАИ. Светошников проехал, не затормозив. Сидящие в машине милиционеры лениво посмотрели ему вслед. Светошников поехал чуть медленнее, надеясь, что его задержат. Он доехал до перекрёстка, постоял, подождал и поехал дальше. Прямо. Против движения.

Теперь это было не важно: он мог ехать куда угодно и как угодно. Он мог нарушать все правила движения и неподвижности — поворачивать, крутиться, стоять на месте, ехать с закрытыми глазами.

Светошников закрыл глаза и надавил педаль газа. Он ехал с закрытыми глазами, слушая испуганные гудки справа и слева. Влажный свет уличных фонарей просился под веки, но Светошников его не пускал.

Он знал, что сегодня ему покажут место.

Он почувствовал тонкую радость внутри, когда выехал на Плющиху, и открыл глаза. Радость звучала негромкой, извилистой музыкой справа от поджелудочной, где качался чёрный лепесток беды. Музыка становилась всё отчетливее, зовя за собой, вглубь смоленских дворов. Было ясно, что ему хотят показать, куда нужно прийти, когда наступит время. Он знал это из предутренних снов.

Радость сместилась влево, и, почти не касаясь руля, он свернул вслед за ней в узкую ленту улицы Бурденко, против движения.

Здесь было пусто. Светошников остановился на углу одного из Неопалимовских переулков. Их было больше, чем один, и кто-то их пронумеровал. Хотя они и так разные, не спутать: в каждом жили свои птицы.

Он въехал на тротуар и стал ждать. Музыка звучала приглушеннее, будто на лютне играли под одеялом. Светошников знал, что это лютня, хотя нико-

гда не видел инструмента. Он даже не помнил, откуда знал это слово. Светошников его раньше не слышал и сам не говорил.

Так с ним бывало: слова, что он не знал, появлялись и показывались ему, растворяясь затем в темноте. Они были как призраки настоящих слов, которые люди произносили каждый день, а он не мог. Раньше Светошников пытался сказать, что хотел, но выходило обрывками и нескладно. Потом он перестал, ограничив себя необходимыми звуками речи, выбирая слова попроще и покороче, и только те, что нужны. Все другие слова оставались внутри и прятались в дальнем понимании, дразня его своей непроизносимостью.

Светошников на них не обижался: он научился обходиться тем, что мог сказать. Говорил он мало, да особенно было и не о чем.

Он просидел в машине больше часа, слушая приглушённые звуки лютни внутри. Потом — безо всякого перехода — музыка зазвучала громко, внятно, совсем рядом — под кожей. Светошников пытался

услышать, куда смещаются звуки. Казалось, музыка стоит на месте и никуда не зовёт.

Он не сразу увидел собак: они пробежали совсем близко — рядом с машиной. Их было пять, Светошников успел пересчитать дважды. Собаки бежали кучно, словно это одна собака. Музыка сместилась и позвала за собаками, влево. Светошников завёл мотор и послушал внутри себя: он не хотел. Не сегодня. Может, и вообще обойдётся. Пронесёт.

Он знал, что врёт сам себе.

Стараясь не смотреть, куда побежали собаки, Светошников повернул направо и осторожно поехал домой, удаляясь от музыки и соблюдая все правила дорожного движения.

3

Там была ещё комната. Как все — четыре стены. Но ни одной южной. Заходить туда ни к чему: только остановка лишняя, а надо вслед, за мерцанием.

Коридор.

На стенах — ничего. Стен вообще не было. Но понятно, что коридор. То ли не построили ещё, то ли уже разрушили. Стен нет, а узко.

Он знал, что скоро будет ведро с чем-то мелким на дне, а потом — поворот, и дверь. Что в ведре, Светошников не глядел никогда: понимал — лучше не видеть. Да и не нужно: его вело за мерцанием, прямо к двери. Ему было велено открыть дверь. Что дальше — понятно. Только он не хотел.

Сегодня коридор не кончался.

Светошников шёл, сторонясь невидимых стен и ловко ступая вдоль трещин. Из трещин — голоса, но не громко. Словно не зовут уже, а так, для порядка плачут.

Светошников шёл за мерцанием. Оно висело впереди, проступая из светлого коридора неокрашенными ни во что искорками. В середине мерцание закручивалось и беззвучно лопалось, расходясь в стороны от центра. Центр был глубже, как воронка. Но чуть-чуть.

Он прошёл ведро. Теперь поворот, и в глубине дверь.

Светошников повернул. Он увидел дверь сразу, и ему показалось, что сегодня она ближе. Значит, время подходит. Она сама к нему подвигается. Хитро.

Он посмотрел, как мерцание облепило дверь. Воронка в центре начала углубляться. Мерцание просачивалось сквозь дверь, втягиваясь в воронку, и надо было вслед за ним — открыть дверь.

Он подошёл ближе. Почти рядом.

Он стоял совсем близко, меньше, чем полруки. Здесь надо было или открыть дверь и войти, или проснуться.

Светошников проснулся. Он так делал каждую ночь, уже месяц. Ещё успеет туда.

Он полежал, привыкая к неровной тьме спальни после ярко-освещённого коридора во сне. Рядом спала жена. Светошников её не любил. Кроме неё и дочери, у него никого не было.

Он подумал разбудить жену, чтоб не так страшно. Светошников знал, что будить не станет, но думал об этом каждую ночь, когда просыпался перед серой тьмой московских рассветов. Ему казалось, будто в Москве особенно плохо по утрам. Он, правда, редко просыпался в других местах.

Сон этот снился ему уже месяц, и каждую ночь Светошников послушно шёл за мерцанием до самой двери. Он не то чтоб боялся; он бояться не умел. Он просто знал, что однажды придётся туда войти и притом не во сне. Во сне был выбор – проснуться. А куда проснёшься наяву?

Светошников сел на кровати и посмотрел на своё тёмное отражение в зеркале. Словно не он, а кто-то ещё. Да нет, он и есть. За ним длинной горкой спала жена. Её в зеркале почти не было видно: лишь неровная холмистость одеяла говорила, что там кто-то лежит. Светошников повернулся вполоборота и потрогал под одеялом её ноги. Он не помнил, какого они цвета.

Он спустился на нижний этаж и долго сидел у окна в гостиной, глядя, как снаружи нехотя светает. Ночь не хотела отступать и сдавалась частями, и голый осенний русский лес неровно проступал клочками, топорщась мокрыми ветками из неясной полутьмы. Справа лежала просека, за ней — другие коттеджи. Их было хорошо видно поверх невысокого забора. Сразу за лесом бежало в две стороны Дмитровское шоссе.

Он досидел до света и слышал визг будильника в своей спальне.

Дом стал заполняться утренней жизнью других. Наверху, прямо над ним, жена собирала дочку в детский сад. Дочь звали Лиза, и жену тоже. Светошникову нравилось, что их зовут, как одну.

Он никогда не завтракал. Только пил чай. И сахар-песок — две ложки. Светошников слизывал сахар с ложки, а не размешивал в чае. Сахар кусками он не любил: не хотел грызть. Ему казалось, что белые кубики твёрже, чем его зубы, и зубы раско-

лются, ломаются о рафинад. Светошникову нравилось слизывать белую колючую пудру с ложки: во рту становилось сладко, и нёбо заволакивало сахарным счастьем. В детстве он воровал сахарный песок, где удавалось. Выходило редко.

Жена рассказывала о планах на вечер, и что сегодня что-то важное в Доме Пашкова. Они приглашены и должны обязательно пойти. Там будут все.

Светошников кивал и соглашался. Он знал, что никуда не пойдёт.

С первого дня, как родилась дочь — все шесть лет — Светошников каждое утро её просматривал. В ней всё было чисто: ни дыма, ни чужого шевеления пауков, что могут прожить тебя насквозь. Проесть изнутри. Иногда ему что-то казалось, и он начинал тревожиться, но быстро понимал, что тревожится от любви. Он боялся за неё от любви. Это мешало ему видеть вещи ясно, как он видел в других. Поэтому он и боялся, что может что-нибудь пропустить.

С дочерью он почти не разговаривал. Не умел. Но играл часто, угадывая её мысли и удивляя своими угадками. Жена привыкла и больше не пугалась.

— Шарф не надо, — сказал жене Светошников. — Она не хочет, чтоб шарф. Будет плакать.

Они стояли в большом деревянном холле с крышей клином перед выходом во двор. Этот холл напоминал Светошникову старый фильм про русского сказочного царя, который плыл в бочке. Что случилось с царём дальше, он забыл.

— Лиза, у тебя горло. Шарф обязательно. — Жена думала, что знает лучше. Она любила дочь.

Светошников посмотрел на дочкино горло. Там, внутри была блестящая трубка, сквозь которую пульсировало гладкое. Хорошее горло. Можно и без шарфа.

Он не стал спорить.

Светошников и маленькая Лиза сели в машину и поехали по дороге сквозь лес. Сегодня он вёл машину сам, и дочь сидела сзади.

На повороте к шоссе Светошников посмотрел на неё в зеркало заднего обзора:

— Шарф не хочешь, — сказал Светошников.

Это был вопрос.

Лиза замотала головой и стала быстро говорить про то, как шарф колется. Светошников не слушал, но и не прерывал. Он знал, что когда Лиза говорит, в её кровь вливается свет от утреннего воздуха. Потом свет мешается с кровью, как прозрачное молоко, и не даёт плохому случиться. Ей слова были нужны. А ему вредны. У него со словами сила выходила и таяла в общей пелене вокруг. Ему нужно было всё в себе держать.

— Шарфними, — сказал Светошников. — Вечером — снова. Для мамы.

Лиза кивнула и стала рассказывать про кого-то из телевизора. Светошников перестал слушать и вёл машину, иногда проверяя голос дочери на запах — здорова ли. Голос сегодня немного пах кислым, и нужно было сказать жене, чтобы вечером положила

Лизе под подушку расчёску со сломанными зубьями и один надорванный конверт. Но без адреса.

А то беда узнает, куда прийти.

4

Себя он видеть не мог, только других. Раньше, ребёнком, Светошников пытался разглядеть себя внутри. Он знал, как нужно: на секунду замереть и перестать всё слышать, чуть осесть, погрузнеть. Тогда сразу увидишь человека внутри: переплетения длинных трубок и сетку тонких проволочек, по которым бежит красное. И где плохо, — не так. Там или цвет другой, или запах, как цвет.

Запахи он тоже мог видеть.

Но в себе Светошников не видел ничего, словно был пустой и тёмный. Словно его взгляд ударялся в чёрное стекло, отражался и возвращался.

Он был непрозрачный.

За себя Светошников не боялся. Когда к нему придёт, он себе не поможет. “Да ведь пришло, — подумал Светошников. — Дверь-то нужно открыть и войти. Оно и есть”. Он всегда знал, что так случится: однажды придёт, и деться некуда.

Было не страшно, а как-то странно, что это происходит прямо сейчас, пока он сидит у себя в кабинете и пьёт фруктовый чай. Он здесь сидит, и вроде всё хорошо, а дверь его ждёт, и никуда от неё не уйти. Светошников посмотрел в окно: он хотел убедиться, что там жизнь, как всегда.

Спешить он не хотел. Успеется.

Светошников любил пустоту своего кабинета: здесь не было ничего, кроме стола, кресла и телевизора, подвешенного в левом углу под потолком. Пальто он снимал в другой комнате, где стоял шкаф для одежды. Там был ещё один стол, за которым сидела его секретарша, Мадина. Светошников не знал, что она делает целыми днями: он её ни о чём не просил, и ему от неё ничего не было нужно.

Мадина приносила чай, когда ей казалось, что он хочет чаю. Она всегда приносила фруктовый, который противно пах сладким. Светошникову такой чай не нравился, но он не спорил. Кивал и пил.

Вначале Мадина пыталась составлять расписание его встреч и каждое утро спрашивала об этом. Он молчал и не знал, что сказать: никаких встреч у него не было, только те, когда нужно “посидеть”. А как знать заранее? Когда нужно, тогда и нужно. Какое здесь расписание? Потом Альтин с ней поговорил, Мадина отстала и занялась другими делами. Чем, Светошников не знал. Он мало обращал на неё внимание. Ни к чему.

Один раз он взглянул, как её родинки дышат, и увидел, что маленький сын Мадины скоро умрёт от восточного воздуха. Там будет темно, и мухи вокруг. Все подумают, что это болезнь, но нет: воздух придёт за ним и окутает, словно плёнка, и тот задохнётся внутри. Кровь станет белой и перестанет струиться. Можно было его спасти, если раз в девять дней водить на гору и сталкивать вниз, и чтобы

в руках он держал красный круг. Тогда только поболает и перестанет ходить. Совсем. Но жить будет долго.

У Мадины над столом висел календарь с кошками. Каждый день она передвигала пластиковое окошко, и число в окошке становилось важнее, чем предыдущие и последующие. Одни числа были чёрные, другие красные. Светошников видел, что её сын умрёт в красный день. Мадина передвигала пластиковое окошко и не знала, что отсчитывает дни его жизни.

Светошников ей ничего не сказал: всё равно не послушает. Раньше он пытался говорить людям, что делать от беды, но те не слушали. Ему их не жалко было: он тогда думал, что говорить нужно. Он тогда думал, что видит для того, чтоб сказать другим.

Никто не слушал: когда был маленький, над ним смеялись и били. Даже Альтин вначале не верил. Пока чуть не пропал в той трубе.

Иногда Светошников встречал таких, как был сам. Редко. Он их сразу узнавал: не мог видеть, что

внутри. Как у себя. Смотрит, а взгляд отражается, словно человек тот — пустой. Словно полый, внутри нет ничего, а тело натянуто на темноту, сквозь которую взгляд не проходит. А в остальном — как все.

Они его тоже узнавали. Одна, в Турции, даже кивнула ему. У неё глаза пахли зелёным. Этот запах потом не давал Светошникову спать по ночам. Он тогда сжёг в пепельнице свои обрезанные волосы, чтобы она на дым пришла. Чувствовал, дым ее притянуть должен. Хотел её глаза ещё раз услышать.

Не пришла. Удержалась. И его не звала. Он бы почувствовал.

Как из сна, из речного тумана зазвонил телефон. У телефона было шесть линий, и сейчас красным горела первая. Альтин.

Светошников поднял трубку и ничего не сказал. Не он же звонит.

— Паша, ты как? — Бежал к нему в ухо рыжей струйкой голос Альтина. — Всё хорошо?

Отвечать Светошников не стал: а хоть бы и нет? Он поможет, что ли?

— Паша, проблемы, — Светошников понял — по цвету голоса, что у того с утра опять болело под животом. Это легко: Альтину нужно будет помочиться на ладонь, лучше правую, и потом пальцем, пока не обсох, нарисовать внизу живота кружок и стрелку.

Светошников хотел было об этом сказать, но Альтин его остановил:

— Паша, эти клиенты, с заводом, от сделки отказываются. Опять их залог не устраивает. Вчера согласились, взяли договор, чтобы на правлении утвердить, а сейчас позвонили и отказались. Ты уверен, что это были ракушки?

— Да, — сказал Светошников. — Это были ракушки.

Альтин замолчал. Он ждал, что Светошников ещё что-нибудь скажет. Светошников тоже молчал, пытаясь почувствовать сквозь дальний воздух, что случилось у вчерашних людей напротив. Он закрыл глаза и настроился на узколицего: тот был легче, прозрачнее. Его должно лучше быть видно. Альтин дышал с другой стороны провода, и его дыхание

пахло горьким. Дыхание мешало Светошникову. Он положил трубку на стол.

Не видно. Темнота с крапинками, и плотная такая. Он такой раньше и не видел. Или кто-то защиту поставил, или предупреждают его, что не обойдётся. Дверь-то ждёт. Не зря ж ему её целый месяц показывают.

Светошников открыл глаза и взял трубку с большим голосом Альтина.

— Далекко, — объяснять он не мог. Не умел. — Мне нужно, чтоб они близко. Как вчера.

— Не вопрос, Паша. — Альтин обрадовался, и голос засветился, стал красным. — Назначим встречу, и ты их додавишь. Добьёшь. Да, Паша?

Светошников осторожно положил трубку на рычаг. Если резко положить, ударить трубкой о телефон, у Альтина боль в горло пройдёт. Альтина он берёт: без него как? Он это ещё в школе понял. Когда Альтина в трубу столкнули, и тот согласился в ней умереть.

Светошников знал, что такие, как он, всегда при других. Для себя он не мог ничего. Ему, правда, ничего и нужно не было. Что нужно, всё Альтин для него делал. Болеть — Светошников не болел: в нём болеть было нечему.

Он надеялся, что это другой, как он, поставил защиту, и оттого люди из вчера не соглашаются. Он с таким раньше сталкивался.

Давно ещё — Светошников плохо помнил время — Альтин сказал, что они пойдут к одному человеку, от которого всё зависит. Их могут сделать уполномоченным банком. Это всё, что Альтин попросил запомнить, потому что важно: уполномоченным банком. За этим идём, Паша. Мы целый месяц ждали, пока нас там примут.

Важный человек их принимал не один. Рядом с ним сидела старая женщина, у которой под очками не было глаз. Светошников это сразу увидел, и что она пустая, как он. Только пустее.

Альтин всё рассказал и передал важному бумаге. Тот делал вид, что на них смотрит, а на самом

деле ждал, что старуха решит. Но вопросы задавал, словно читал.

Светошников быстро понял, что Альтину нужно ложечкой сливать чай обратно. Поднял ложку с чаем и обратно в чашку слил. И снова. Тогда все вопросы от Альтина вернутся к важному, словно он сам на них ответил. А своим ответам он будет рад.

Альтин так и стал делать, и Светошников видел, как слова Альтина текут через стол к важному в глаза. Ответы пахли сладким, как чай. Важный человек кивал и соглашался. Он делал пометки на бумаге, но Светошников знал: это так, ни о чём.

Он спохватился, когда было поздно: в воздухе висела решётка. Светошников понял, что случилось: старуха нарисовала её перед собой на белом листе, и решётка сошла с листа и повисла в воздухе над столом. Ответы Альтина не могли пробиться сквозь решётку и начали ломаться, коверкаться и доходить до важного не нужными осколками. Важный человек быстро потерял интерес, стал светлее внутри, и сообщил Альтину, что тот к разговору не готов. Так

они и ушли, а пустая старуха без глаз только кивнула на прощание.

Может, у вчерашних людей тоже есть кто-то такой?

“Вряд ли, — подумал Светошников. — Это дверь о себе даёт знать. Зовёт расплатиться”.

Светошников закрыл глаза и очутился в своём сне: коридор, и дверь в конце.

Он протянул руку и толкнул дверь.

Перед ним висело сгущающееся ничто.

Как когда он в школе с лестницы прыгнул.

5

Он и сам не знал, почему прыгнул. Светошников стоял на четвёртом этаже школы, где находился вспомогательный класс. На уроках он всё время молчал, и когда учителя спрашивали, начинал плакать. Его оставили на второй год в третьем классе, а

потом перевели во вспомогательный. Что это значит, Светошников не понимал, но был доволен: здесь дети над ним не смеялись — сами были такие.

Иногда учительница била их книгой по голове. У неё были странные уши — словно два цветка по бокам головы. Светошников не помнил её лица; только уши.

Он тогда был не как сейчас. Был обычный дурак. Учительница звала их “дебильчики”.

Она о них так и говорила:

— Опять мои дебельчики ничего не сделали.

Светошникову нравилось, что она зовет их так ласково. Потом Альтин объяснил, что это плохо, как дурак. Светошников долго не верил: «дурак» звучало жёстко, а «дебильчики» — мягко, ласково. Ему нравилось.

Он стоял у лестничного проёма и смотрел вниз. Домой идти не хотел: боялся, что мать в тот день трезвая — деньги она пропивала в начале месяца. Трезвая, мать была злая и могла начать драться.

Она его била нечасто, но долго и всегда молча. Кричать не разрешала. Так и молчали оба, пока мать не уставала и шла на кухню есть хлеб. Светошников тогда коротко плакал и тоже шёл есть.

Он и не прыгнул вовсе: стоял и смотрел в проём. Четыре этажа. А потом понял, что падает — долго, медленно. Было хорошо видно лестницу и других: кто поднимается, кто вниз бежит. У кого какой портфель.

Казалось, он летел больше часа. Внизу его ожидало мерцающее марево, какое он теперь видел во снах. Он и шагнул в него через перила. Сам не понял, как получилось. Мерцание его подхватило и чуть-чуть покачало перед тем, как опустить на кафельную плитку. И всё. Даже больно не было. Встал сам. И упал сразу. Только тогда Светошников услышал, как вокруг кричат люди. Пока падал — было тихо.

После того он начал видеть, что у кого внутри и что делать нужно. Оно само появилось, он и не удивился. Словно так и должно быть.

Поначалу Светошников увидел это в больнице, где его держали целую неделю, хотя у него ничего не болело. Зато он видел, как болит внутри других, и понимал, что врачи не так делают.

Рядом в палате лежал старик, у которого слева от груди в красном мешочке жила плохая кровь. Старику нужно было перед утренним светом посидеть на корточках, а когда воздух начнёт наполняться прозрачным, быстро начинать тереть левой ладонью от живота вверх. Тогда кровь посветлеет, и тёмный паук внутри отпустит мешочек, который пульсировал уже еле-еле.

Светошников сказал про то матери, когда она пришла в четверг (там в другие дни не пускали). Со стариком он разговаривать боялся. Мать сначала не слушала, а когда поняла о чём он, заплакала. Пришла медсестра, и мать ей долго жаловалась, что Паша стал совсем дурачок, и раньше-то умным не был. Но теперь, может, дадут пенсию по инвалидности.

Сестра покивала и ушла. Когда она выходила, Светошников посмотрел на неё сзади и вдруг понял, что отец с ней маленькой делал что-то, что она никак не может забыть. Оттого у неё по утрам и дыхания нет. Он знал, как это вылечить: идти от солнца в другую сторону и через каждый следующий шаг бить лодыжкой по лодыжке, словно хочешь подбить свою же ногу. Только руки надо держать в стороны, будто ждёшь, чтоб обняться.

Иначе не сработает.

Говорить медсестре он об этом не стал. Боялся — побьёт.

С той поры Светошников начал видеть. Мир вокруг оказался другим.

Светошников сперва не верил, что остальные не понимают, как всё устроено; думал, это он раньше не видел, как всё на самом деле, и оттого его дразнили и в школе, и во дворе. Выходило наоборот: только он всё и видел. А другие как слепые ходили вокруг и понять не могли, что и почему. Ни внутри себя, ни снаружи.

Светошников теперь знал, что утренний туман делает худых больными, а толстые наливаются водой от того, что у них между животом и грудью как кусок ваты, который воду держит и не даёт уйти. Он видел мысли людей и мог сказать, какого они цвета. Светошников понимал, что заря никогда не приходит одна, всегда две зари: одна — для тех, у кого глаза светлые, другая — для остальных. А от вечерней простуды надо бумагу мелко нарвать, на пол бросить и оставить лежать до утра.

Всё это было просто и понятно, как отчего дождь льёт: звёзды плачут, что мы их не любим.

Альтин выпрашивал годами, как Светошников видит, что видит; как знает, что знает. Светошников не мог ничего объяснить: когда дышишь, не думаешь, как дышать. Дышишь — и всё.

Только теперь сила его подходит к концу. Слишком долго хорошо было. Не задаром же. Пора расплатиться.

Светошников посмотрел на экран телевизора под потолком, где девушка билась на мечах с другими. Он знал: она их победит, но потом всё равно прыгнет в пропасть. Так и он: тогда не долетел, а сейчас время.

Или обойдётся?

6

Искать Светошников начинал из разных мест: надеялся, что по-разному и получится. Глупо, конечно: всё одно приведёт куда нужно. Так, с собою в прятки играл.

В этот вечер радость внутри кольнула болью на набережной, под Павелецким мостом. Боль превратилась в звук и повела сквозь суету спешащих машин. Радость стала музыкой — снова лютня. Светошников понимал: от неё не спрятаться — она ж внутри.

Он ездил к тому времени часа три, застревая в вечерних пробках. Понятно было, что в конце его

выведет к Неопалимовскому переулку. Но самому туда ехать нельзя: надо ждать знака.

Нечего спешить.

Он пришёл в переговорную утром, задолго, хотел там посидеть один. Почувствовать, что нужно. Может, мебель другую, или что переставить. Или что принести.

Переговорную он выбирал сам. Она была меньше, чем та, где встречались прошлый раз. Ему и нужна была комната поменьше, чтобы быстрее пропитать ее красным. Что красным, Светошников знал точно. Видел. Это без ошибки.

Узколицый не появился: вместо него была молодая женщина с ненужными глазами. Другой, с толстым голосом, назвал её имя, и Светошников неожиданно запомнил. Он раньше имён не помнил: ни к чему было. А тут — сразу. Он насторожился: не так.

Светошников просмотрел её внутри: ничего особенного, прозрачная. Не болеет ничем сильным. Женщина как женщина: никакая.

Разве что за правой глазницей у неё жила обида на мать. Что там между ними произошло, он смотреть не стал: времени нет. Да и не важно. Он бы почувствовал, если нужно поглядеть.

Все сели, и Светошников перестал слышать: у него работа была. Он собирал красноватую краску из голоса Альтина и пропитывал ею воздух в комнате. Чашки он ещё утром попросил красные, и люди напротив пили из новых красных чашек.

На столе перед ними лежали остро оточенные красные карандаши.

Светошников видел, как нужный цвет заполняет глаза сидящих с другой стороны стола. Скоро они внутри заснут и на всё согласятся. Снаружи человек, как прежний: говорит, смеётся, а внутри спит. Такого можно заставить делать, что угодно: надо лишь подобрать правильный цвет. Для этих правильный — красный.

Цветом наполнять — самое сложное. Много силы уходит. Зато потом, что угодно с человеком делай. Полностью наполнять нельзя: не проснутся. У

него однажды случилось. Он ту девушку до сих пор помнил. У неё — где сердце — был колокольчик и звонить перестал, пока она делала, что он хотел.

Светошников долго знал её имя.

Люди напротив спали. Женщина что-то объясняла, поминутно тыкая покрашенными ногтями в текст договора, а другой, с толстым голосом, кивал и приговаривал:

— Именно. Именно.

На деле же они спали. Красное заполнило их по шею, и теперь качалось там, неспешно, словно вода в прозрачном кувшине. Кровь в них тоже текла, но Светошников мог различить, где что. Красное было хуже. И оно стояло, а не текло.

Он повернулся к Альтину и кивнул: можно начинать. Альтин моргнул, и глаза у него стали ещё круглее: всё не верил, что другие спят. Светошников засмеялся: он не первый раз делал это при Альтине, а тот всё не верил.

— Давай, — сказал Светошников. — А то очнутся.

Альтин снова моргнул и заговорил, обращаясь к сидящим напротив:

— Надо подписать договор с банком. Это хороший договор. Его надо подписать. Это хорошие условия. Надо подписать договор.

Светошников следил, как слова втекают в глаза сидящих перед ним мужчины и женщины и остаются у них в головах: красное не позволяло словам осесть ниже. Женщина показала Светошникову какое-то место на бумаге и спросила, готов ли банк рассмотреть альтернативу залогу. Светошников кивнул; он подивился, как она крепко спит.

Слова Альтина ложились хорошо, но почему-то не расползались красным туманом, заполняя собой всё вокруг. Это было неправильно: слова должны были раствориться у людей в головах и стать одним с кровью, что текла по тоненьким проволочкам вдоль затылков. Но слова висели отдельным куском и не мешались с кровью внутри.

Светошников повернулся к Альтину:

— Краснее говори. Краснее.

— Что? — не понял Альтин. — Красивее?

— Краснее, — повторил Светошников. — Чтобы голос — краснее.

Альтин кивнул и заговорил снова. Светошников видел, что голос у того стал краснее, но всё равно светлый. Как алое знамя. У них в школе такое было, в актовом зале.

Он знал, правда: дело не в Альтине. Дело в нём. Даже самое сильное у него теперь не работало. Он надеялся, если наполнить цветом, всё получится. Не так.

Светошников смотрел, как красное постепенно вытекает из людей напротив. Оно, понятно, никуда не вытекало, а испарялось, и верхний слой становился всё ниже и ниже. Словно в раковину воду набрали, а потом затычку вытащили.

Ещё немного и проснутся. И ничего не подпишут.

Светошников встал и пошёл к двери. Альтин его что-то спрашивал, но он не слушал: ни к чему. Что сидеть и смотреть, как они откажутся от всего, что им предлагают. И так худо.

У порога Светошников оглянулся и посмотрел женщине в глаза. Он хотел узнать, что у неё тогда с матерью вышло. Не увидел: словно тьма, и сквозь тьму — искры. И того не смог.

Он сразу уехал, сам за рулём. Светошников выбрался на Третье кольцо и дважды по нему проехал, возвращаясь туда, где начал. Мобильный телефон звонил протяжной музыкой, которую любила жена. Светошников не отвечал: ему было нечего сказать Альтину. Он и себе-то не знал, что сказать.

Его ждала дверь.

7

Радость нашла его под Павелецким мостом. Не слушать — только хуже потом.

Светошников свернул за долгими звуками лютни на Садовое кольцо в сторону Октябрьской и поехал, следуя протяжной музыке внутри.

Машины теперь двигались намного быстрее.

Не идти — нельзя. Оно ж не отпустит. Силу отнимет, и что потом? Станет он снова обычный дурак. Делать Светошников ничего не умел, кроме того, что делал для Альтина. Он нигде и ничему не учился: не нужно было. Он — что надо — и так знал.

Раньше.

Светошников развернулся над туннелем у Нового Арбата и поехал в обратную сторону по Садовому. Музыка стала не сильнее, но словно отчётливее, будто раньше играли издалека, а теперь подошли ближе. Понятно, однако: это он сам ближе подходит.

Звуки лютни провели его по улице Бурденко к Плющихе и исчезли на углу одного из Неопалимовских переулков. Здесь музыка играть перестала. Машины были плотно припаркованы вдоль тротуаров, но на углу Светошникова ждало свободное место. Место пахло чужим теплом, как насиженный стул. Будто для него хранили.

Переулок был другой, чем раньше. Но тоже Неопалимовский.

Светошников заглушил мотор и стал ждать. Знак нужен.

Он понимал, что врёт себе, будто идет для силы: себя успокаивал. Он и не вернётся, наверное. Мареву не отпустит. Оно ж не даром воронку показывает: втянет и всё. Ему и так сколько лет с того прыжка дали. Жизнь хорошую. Дочку.

Идёт — потому что велено. Не может не идти. Был бы человек обычный, мог не послушаться. А он должен.

С крыши дома напротив поднялась стая птиц. Они были одного цвета с воздухом, но Светошников их хорошо видел. Птицы были нездешние; они для него остановку делали. Стая чуть замедлила над его машиной и полетела в глубь дворов. Куда раньше собаки бежали.

Пора.

Он хотел уехать отсюда — сразу, сейчас.

Светошников закрыл глаза и оказался в своём сне: он шёл по коридору без стен. Мареву висело перед ним, звало, и в центре — где воронка — что-то

лопалось и просвечивало холодным бледным светом.

Его любимым.

В окно машины постучали. Светошников открыл глаза: за стеклом стоял цыганёнок-оборвыш, лет семи. Такие клянчили в переходах метро и на светофорах. Часто до поздней московской осени они стояли на асфальте босые — для жалости. Их взрослые ждали чуть в стороне, чтобы потом отнять поданные копейки.

Светошников вышел из машины. Цыганёнок отскочил в сторону, но остался, не убежал. Светошников посмотрел: тот был в обуви. Не как другие.

— Дядь, дай, — занял цыганёнок. — Дай.

Он сильно косил и потому выглядел дебиллом. Казалось, он смотрит мимо Светошникова, а того не видит совсем. На голове у мальчика была взрослая шапка-ушанка, ненужная в такую погоду. Октябрь же.

Светошников пошёл за птицами.

Он мог видеть: не ясно, как всегда, а словно сквозь марлю. Навстречу попалась женщина, и Светошников понял, что у неё плохо в коленях. Там качалось тёмное пятно, и оно двигалось отдельно от её тела, сантиметрах в пятидесяти, словно плыло впереди женщины. Светошников видел, что там у неё плохо, но не видел, что плохо. Раньше бы сразу знал.

Светошников посмотрел на ближний дом. Он не мог видеть людей за стенами, лишь пятна. Раньше он их видел всех вместе и каждого порознь, и про них знал. Теперь — только пятна: как солнечные зайчики на стене. Но чёрные.

Его потрогали за пальто.

— Дядь, дай, — у цыганёнка текло из носа, и он утирал себя рукавом. — Дай.

“От своих отбился, — решил Светошников. — Или прогнали”.

Он хотел посмотреть, больной ли мальчик, но понял: не нужно. Ему нельзя было смотреть внутрь

этого мальчика. “Оно и лучше, — подумал Светошников. — Ни к чему”.

Он остановился на перекрёстке. Птиц в небе больше не было, и он не знал, куда идти. Самому нельзя: нужно ждать.

Подул ветер, закружил пыль и последние листья, бросил их поверх его головы. Ветер дул в лицо, в том направлении, откуда Светошников пришёл. Он замер: отпускают, что ли? Можно уходить? Не сегодня?

Светошников хотел повернуться, чтобы пойти за ветром, и вдруг перестал видеть. словно лицо облепили холодным и комканым.

Он сорвал с лица принесённую ветром газету. Посмотрел на мятый шершавый лист и увидел напечатанное жирным слово: **СДАЁТСЯ**. Под заголовком мелким шрифтом бежала вниз колонка объявлений о сдаче квартир. Одно из них было обведено красным. Светошников посмотрел на адрес в газете, за-

тем на название улицы и номер здания на углу. Номер тот же, только строение 1. Его дом был строение 2.

Выходило — во двор.

Он повернулся к цыганёнку. Знал, что теперь позволено на того глядеть: он дошёл до своего места. Но глядеть не стал: поздно. Он судьбу пришёл встретить.

— Иди, — сказал Светошников. — Отсюда.

Цыганёнок шмыгнул носом и тихонько завыл. Не плакал, а так, в слабый голос.

— Дядь, дай, — просил мальчик. — Ну, дай.

Он протягивал руку. Светошников посмотрел на маленькую ладонь: там внутри бились жилки, и под кожей текла бледная жидкость. Жидкость пахла зелёным, как новая трава по весне.

Только поздно это. Значит, тому и быть.

Светошников пошёл в тёмную арку. Он слышал, как мальчик клянчит у него за спиной, но слов больше не разбирал. Ему приготовиться нужно.

Посреди двора стоял старый четырёхэтажный дом. Дом был окружён построенными позже большими зданиями, и его то ли забыли снести, то ли для чего берегли. “Оно и понятно, для чего”, – решил Светошников.

Рядом с домом, криво освещённые бледным осенним солнцем, скрипели качели. Словно на них качался кто-то, невидимый даже Светошникову. Во дворе не было птиц и людей. Только у подъезда сидела старуха с пустым лицом. Она никуда не глядела.

Светошников показал ей газету.

– А, в шестую, – сказала старуха. – На третий этаж тебе. Да их и дома нету.

Это, положим, он и сам знал.

Цыганёнок поднимался за ним по деревянной лестнице, которая не скрипела. Он что-то говорил, просил, но Светошников не слушал. Он дверь искал.

От площадки третьего этажа в сторону уходил коридор. Светошников его хорошо помнил. Видел раньше. Только без стен.

Коридор был недлинный. Он становился всё светлее; ни от чего, сам. Словно, чем глубже, тем больше света. Скоро стало так светло, что Светошников перестал видеть стены.

— Дядь, дай, — домогался сзади тоненький голос. — Ну, дай.

Вот и угол. Здесь стояло ведро. Светошников остановился и посмотрел, что на дне. Теперь можно. Всё одно.

Кто-то топил котят, и ведро в коридор выставил. Поленился во двор идти. Котята качались в мелкой воде мордочками вниз. Их пушистые хвостики плавали, как надувные.

Светошников повернул за угол. Здесь в воздухе висело мерцающее марево, сквозь которое темнела дверь. Марево переливалось и лопалось в центре. Оно облепило дверь и начало просачиваться насквозь.

Тут Светошников увидел себя. Не со стороны: внутри. Что раньше видеть не мог.

Он внутри был светлый. Как белый огонь. Он себя раньше видеть не мог оттого, что внутри был светлее, чем мир. Много светлее. У него и вправду там ничего не было: свет один.

— Дядь, дай. Ну, дай.

Светошников стоял рядом с дверью. Марево уже просочилось насквозь и звало его: время. Сейчас он заплатит за всё: за перемену судьбы, за чужую удачу, за лёгкость жизни, за деньги, за дочь.

Светошников протянул руку и рывком открыл дверь. Не оборачиваясь, он схватил цыганёнка за ворот и швырнул в воющую от ожидания пустоту.